

## БЕДНЫЕ ЛЮДИ

*Роман*

Ох, уж эти мне сказочники! Нет чтобы написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное, а то всю подноготную в земле вырывают!.. Вот уж запретил бы им писать! Ну, на что это похоже: читаешь... невольно задумаешься, — а там всякая дребедень и пойдет в голову; право бы, запретил им писать; так-таки просто вовсе бы запретил.

*Кн. В. Ф. Одоевский.*

*Апреля 8-го.*

Бесценная моя Варвара Алексеевна!

Вчера я был счастлив, чрезмерно счастлив, донельзя счастлив! Вы хоть раз в жизни, упрямица, меня послушались. Вечером, часов в восемь, просыпаюсь (вы знаете, маточка, что я часочек-другой люблю поспать после должности), свечку достал, przygotowляю бумаги, чиню перо, вдруг, невзначай, подымаю глаза, — право, у меня сердце вот так и запрыгало! Так вы-таки поняли, чего мне хотелось, чего сердчишку моему хотелось! Вижу, уголок занавески у окна вашего загнут и прицеплен к горшку с бальзаминои, точнехонько так, как я вам тогда намекал; тут же показалось мне, что и личико ваше мелькнуло у окна, что и вы ко мне из комнатки вашей смотрели, что и вы обо мне думали. И как же мне досадно было, голубчик мой, что милovidного личика-то

вашего я не мог разглядеть хорошенько! Было время, когда и мы светло видели, маточка. Не радость старость, родная моя! Вот и теперь все как-то рябит в глазах; чуть поработаешь вечером, попишешь что-нибудь, наутро и глаза покраснеются, и слезы текут, что даже совестно перед чужими бывает. Однакоже в воображении моем так и засветлела ваша улыбочка, ангельчик, ваша добренькая, приветливая улыбочка; и на сердце моем было точно такое ощущение, как тогда, как я поцеловал вас, Варенька, — помните ли, ангельчик? Знаете ли, голубчик мой, мне даже показалось, что вы там мне пальчиком погрозили? Так ли, шалунья? Непременно вы это все опишите подробнее в вашем письме.

Ну, а какова наша придумочка насчет занавески вашей, Варенька? Премило, не правда ли? Сижу ли за работой, ложусь ли спать, просыпаюсь ли, уж знаю, что и вы там обо мне думаете, меня помните, да и сами-то здоровы и веселы. Опустите занавеску — значит, прощайте, Макар Алексеич, спать пора! Подымете — значит, с добрым утром, Макар Алексеич, каково-то вы спали, или: каково-то вы в вашем здоровье, Макар Алексеич? Что же до меня касается, то я, слава творцу, здорова и благополучна! Видите ли, душечка моя, как это ловко придумано; и писем не нужно! Хитро, не правда ли? А ведь придумочка-то моя! А, что, каков я на эти дела, Варвара Алексеевна?

Доложу я вам, маточка моя, Варвара Алексеевна, что спал я сию ночь добрым порядком, вопреки ожиданий, чем и весьма доволен; хотя на новых квартирах, с новоселья, и всегда как-то не спится; все что-то так, да не так! Встал я сегодня таким ясным соколом — любо-весело! Что это какое утро сегодня хорошее, маточка! У нас растворили окошко; солнышко светит, птички чирикают, воздух дышит весенними ароматами, и вся природа оживает — ну, и остальное там все было тоже соответственное; все в порядке, по-весеннему. Я даже и помечтал сегодня довольно приятно, и все об вас были мечтания мои, Варенька. Сравнил я вас с птичкой небесной, на утеху людям и для украшения природы созданной. Тут же подумал я, Варенька, что и мы, люди, живущие в заботе и тревожении, должны тоже завидовать беззаботному и невинному счастью небесных птиц, — ну, и остальное все такое же, сему же подобное; то есть я всё такие

сравнения отдаленные делал. У меня там книжка есть одна, Варенька, так в ней то же самое, все такое же весьма подробно описано. Я к тому пишу, что ведь разные бывают мечтания, маточка. А вот теперь весна, так и мысли всё такие приятные, острые, затейливые, и мечтания приходят нежные; всё в розовом цвете. Я к тому и написал это все; а впрочем, я это все взял из книжки. Там сочинитель обнаруживает такое же желание в стихах и пишет —

Зачем я не птица, не хищная птица!

Ну, и т. д. Там и еще есть разные мысли, да бог с ними! А вот куда это вы утром ходили сегодня, Варвара Алексеевна? Я еще и в должность не сбирался, а вы, уж подлинно как пташка весенняя, порхнули из комнаты и по двору прошли такая веселенькая. Как мне-то было весело, на вас глядя! Ах, Варенька, Варенька! вы не грустите; слезами горю помочь нельзя; это я знаю, маточка моя, это я на опыте знаю. Теперь же вам так покойно, да и здоровьем вы немного поправились. — Ну, что ваша Федора? Ах, какая же она добрая женщина! Вы мне, Варенька, напишите, как вы с нею там живете теперь, и всем ли вы довольны? Федора-то немного ворчлива, да вы на это не смотрите, Варенька. Бог с нею! Она такая добрая.

Я уже вам писал о здешней Терезе, — тоже и добрая и верная женщина. А уж как я беспокоился об наших письмах! как они передаваться-то будут? А вот как тут послал господь на наше счастье Терезу. Она женщина добрая, кроткая, бессловесная. Но наша хозяйка просто безжалостная. Затирает ее в работу словно ветошку радиона какую-нибудь.

Ну, в какую же я труппу попал, Варвара Алексеевна! Ну, уж квартира! Прежде ведь я жил таким глухарем, сами знаете: смирно, тихо; у меня, бывало, муха летит, так и муху слышно. А здесь шум, крик, гвалт! Да ведь вы еще и не знаете, как это все здесь устроено. Вообразите, примерно, длинный коридор, совершенно темный и нечистый. По правую его руку будет глухая стена, а по левую все двери да двери, точно номера, все так в ряд простираются. Ну, вот и нанимают эти номера, а в них по одной комнатке в каждом; живут в одной и по двое и по трое. Порядку не спрашивайте — Ноев ковчег! сеза



Впрочем, кажется, люди хорошие, все такие образованные, ученые. Чиновник один есть (он где-то по литературной части), человек начитанный: и о Гомере, и о Брамбеусе, и о разных у них там сочинителях говорит, обо всем говорит, — умный человек! Два офицера живут, и все в карты играют. Мичман живет; англичанин-учитель живет. Постойте, я вас потешу, маточка; опишу их в будущем письме сатирически, то есть как они там сами по себе, со всею подробностью. Хозяйка наша — очень маленькая и нечистая старушонка, целый день в туфлях да в шляфроке ходит и целый день все кричит на Терезу. \* Я живу в кухне, или гораздо правильнее будет сказать вот как: тут подле кухни есть одна комната. (а у нас, нужно вам заметить, кухня чистая, светлая, очень хорошая), комнатка небольшая, уголок такой скромный... то есть, или еще лучше сказать, кухня большая в три окна, так у меня вдоль поперечной стены перегородка, так что и выходит как бы еще комната, номер сверхштатный; все просторное, удобное, и окно есть, и все, — одним словом, все удобное. Ну, вот это мой уголок. Ну, так вы и не думайте, маточка, чтобы тут что-нибудь такое иное и таинственный смысл какой был; что вот, дескать, кухня! — то есть я, пожалуй, и в самой этой комнате за перегородкой живу, но это ничего; я себе ото всех особенно помаленьку живу, втихомолочку живу. Поставил я у себя кровать, стол, комод, стульев парочку, образ повесил. Правда, есть квартиры и лучше, — может быть, есть и гораздо лучшие, да удобство-то главное, ведь это я все для удобства, и вы не думайте, что для другого чего-нибудь. Ваше окошко напротив, через двор; и двор-то узенький, вас мимоходом увидишь — все веселее мне, горемычному, да и дешевле. У нас здесь самая последняя комната, со столом, тридцать пять рублей ассигнациями стоит. Не по карману! А моя квартира стоит мне семь рублей ассигнациями, да стол пять целковых: вот двадцать четыре с полтиною, а прежде ровно тридцать платил, зато во многом себе отказывал; чай пивал не всегда, а теперь вот и на чай и на сахар выгадал. Оно, знаете ли, родная моя, чаю не пить как-то стыдно; здесь все народ достаточный, так и стыдно. Ради чужих и пьешь его, Варенька, для вида, для тона; а по мне, все равно, я неприхотлив. Положите так, для карманных денег — все сколько-нибудь требуется — ну сапожишки какие-нибудь,

платишко — много ль останется? Вот и все мое жалованье. Я-то не ропщу и доволен. Оно достаточно. Вот уже несколько лет достаточно; награждения тоже бывают. — Ну, прощайте, мой ангельчик. Я там купил парочку горшков с бальзаминчиком и гераньку — недорого. А вы, может быть, и резеду любите? Так и резеда есть, вы напишите; да знаете ли, все как можно подробнее напишите. Вы, впрочем, не думайте чего-нибудь и не сомневайтесь, маточка, обо мне, что я такую комнату нанял. Нет, это удобство заставило, и одно удобство соблазнило меня. Я ведь, маточка, деньги коплю, откладываю; у меня денежка водится. Вы не смотрите на то, что я такой тихонький, что, кажется, муха меня крылом перешибет. Нет, маточка, я про себя не промах, и характера совершенно такого, как прилично твердой и безмятежной души человеку. Прощайте, мой ангельчик! Расписался я вам чуть не на двух листах, а на службу давно пора. Целую ваши пальчики, маточка, и пребываю

вашим нижайшим слугою и вернейшим другом  
Макаром Девушкиным.

P. S. Об одном прошу: отвечайте мне, ангельчик мой, как можно подробнее. Я вам при сем посылаю, Варенька, фунтик конфет; так вы их скушайте на здоровье, да ради бога обо мне не заботьтесь и не будьте в претензии. Ну, так прощайте же, маточка.

Апреля 8-го.

Милостивый государь, Макар Алексеич!

Знаете ли, что придется, наконец, совсем поссориться с вами? Клянусь вам, добрый Макар Алексеич, что мне даже тяжело принимать ваши подарки. Я знаю, чего они вам стоят, каких лишений и отказов в необходимейшем себе самому. Сколько раз я вам говорила, что мне не нужно ничего, совершенно ничего; что я не в силах вам воздать и за те благодеяния, которыми вы доселе осыпали меня. И зачем мне эти горшки? Ну, бальзаминчики еще ничего, а геранька зачем? Одно словечко стоит неосторожно сказать, как, например, об этой герани, уж вы тотчас и купите; ведь, верно, дорого? Что за прелесть на ней цветы! Пунсовые крестиками. Где это вы достали такую хорошенькую гераньку? Я ее посредине окна по-



дадут другой смысл. Нет, ангельчик мой, я уж вас лучше завтра у всенощной увижу; это будет благоразумнее и для обоих нас безвреднее. Да не взыщите на мне, маточка, за то, что я вам такое письмо написал; как перечел, так и вижу, что все такое бессвязное. Я, Варенька, старый неученый человек; смолоду не выучился, а теперь и в ум ничего не пойдет, коли снова учиться начинать. Сознаюсь, маточка, не мастер описывать и знаю, без чужого иного указания и пересмеивания, что если захочу что-нибудь написать позатейливее, так вздору нагорожу. Видел вас у окна сегодня, видел, как вы стору опустили. Прощайте, прощайте, храни вас господь! Прощайте, Варвара Алексеевна.

Ваш бескорыстный друг

Макар Девошкин.

Р. С. Я, родная моя, сатиры-то ни об ком не пишу теперь. Стар я стал, матушка, Варвара Алексеевна, чтоб попусту зубы скалить! и надо мной засмеются, по русской пословице: кто, дескать, другому яму роет, так тот... и сам туда же.

Апреля 9-го.

Милостивый государь,  
Макар Алексеевич!

Ну, как вам не стыдно, друг мой и благодетель, Макар Алексеевич, так закручиниться и закапризничать. Неужели вы обиделись! Ах, я часто бываю неосторожна, но не думала, что вы слова мои примете за колкую шутку. Будьте уверены, что я никогда не осмелюсь шутить над вашими годами и над вашим характером. Случилось же это все по моей ветрености, а более потому, что ужасно скучно, а от скуки и за что не возьмешься? Я же полагаю, что вы сами в своем письме хотели посмеяться. Мне ужасно грустно стало, когда я увидела, что вы довольны мною. Нет, добрый друг мой и благодетель, вы ошибитесь, если будете подозревать меня в нечувствительности и неблагодарности. Я умею оценить в моем сердце все, что вы для меня сделали, защитив меня от злых людей, от их гонения и ненависти. Я вечно буду за вас бога молить, и если моя молитва доходна к богу и небо внемлет ей, то вы будете счастливы.

Я сегодня чувствую себя очень нездоровую. Во мне жар и озноб попеременно. Федора за меня очень беспокоится. Вы напрасно стыдитесь ходить к нам, Макар Алексеевич. Какое другим дело! Вы с нами знакомы, и дело с концом!.. Прощайте, Макар Алексеевич. Более писать теперь не о чем, да и не могу: ужасно нездоровится. Прошу вас еще раз не сердиться на меня и быть уверену в том всегдашнем почтении и в той привязанности,

с каковыми честь имею пребыть  
наипреданнейшею и покорнейшею услужницей вашей

Варварой Доброселовой.

Апреля 12-го.

Милостивая государыня,  
Варвара Алексеевна!

Ах, маточка моя, что это с вами! Ведь вот каждый-то раз вы меня так пугаете. Пишу вам в каждом письме, чтоб вы береглись, чтоб вы кутались, чтоб не выходили в дурную погоду, осторожность во всем наблюдали бы,— а вы, ангельчик мой, меня и не слушаетесь. Ах, голубчик мой, ну, словно вы дитя какое-нибудь! Ведь вы слабенькие, как соломинка слабенькие; это я знаю. Чуть ветерочек какой, так уж вы и хвораете. Так остерегаться нужно, самой о себе стараться, опасностей избегать и друзей своих в горе и в уныние не вводить.

Изъявляете желание, маточка, в подробности узнать о моем житье-бытье и обо всем меня окружающем. С радостью спешу исполнить ваше желание, родная моя. Начну сначала, маточка: больше порядку будет. Во-первых, в доме у нас на чистом входе лестницы весьма посредственные; особенно парадная — чистая светлая, широкая, все чугун да красное дерево. Зато уж про черную и не спрашивайте: винтовая, сырая, грязная, ступеньки поломаны, и стены такие жирные, что рука прилипает *нафта*  
когда на них опираешься. На каждой площадке стоят сундуки, стулья и шкафы поломанные, веточки развешаны, окна повывиты; лоханки стоят со всякою нечистью, с грязью, с сором, с яичною скорлупою да с рыбьими пузырями; запах дурной... одним словом, нехорошо. *запах*

Я уже описывал вам расположение комнат; оно, нечего сказать, удобно, это правда, но как-то в них



душно, то есть не то чтобы оно пахло дурно, а так, если можно выразиться, немного гнилой, остро-услашенный запах какой-то. На первый раз впечатление невыгодное, но это все ничего; стоит только минуты две побыть у нас, так и пройдет и не почувствуешь, как все пройдет, потому что и сам как-то дурно пропахнешь, и платье пропахнет, и руки пропахнут, и все пропахнет, — ну, и привыкнешь. У нас чижики так и мрут. Мичман уж пятого покупает, — не живут в нашем воздухе, да и только. Кухня у нас большая, обширная, светлая. Правда, по утрам чадно немного, когда рыбу или говядину жарят, да и нальют и намочат везде, зато уж вечером рай. В кухне у нас на веревках всегда белье висит старое; а так как моя комната недалеко, то есть почти примыкает к кухне, то запах от белья меня беспокоит немного; но ничего: поживешь и привыкнешь.

С самого раннего утра, Варенька, у нас возня начинается; встают, ходят, стучат, — это поднимаются все, кому надо, кто в службе или так, сам по себе; все пить чай начинают. Самовары у нас хозяйские, большею частью, мало их, ну так мы все очередь держим; а кто попадет не в очередь со своим чайником, так сейчас тому голову вымоют. Вот я было попал в первый раз, да... Впрочем, что же писать! Тут-то я со всеми и познакомился. С мичманом с первым познакомился; откровенный такой; все мне рассказал: про батюшку, про матушку, про сестрицу, что за тульским заседателем, и про город Кронштадт. Обещал мне во всем покровительствовать и тут же меня к себе на чай пригласил. Отыскал я его в той самой комнате, где у нас обыкновенно в карты играют. Там мне дали чаю и непременно хотели, чтоб я в азартную игру с ними играл. Смеялись ли они, нет ли надо мною, не знаю; только сами они всю ночь напролет проиграли, и когда я вошел, так тоже играли. Мел, карты, дым такой ходил по всей комнате, что глаза ело. Играть я не стал, и мне сейчас заметили, что я про философию говорю. Потом уж никто со мною и не говорил все время; да я, по правде, рад был тому. Не пойду к ним теперь; азарт у них, чистый азарт! Вот у чиновника по литературной части бывают также собрания по вечерам. Ну, у того хорошо, скромно, невинно и деликатно; все на тонкой ноге.

Ну, Варенька, замечу вам еще мимоходом, что прегадкая женщина наша хозяйка, к тому же сущая ведьма. Вы видели Терезу. Ну, что она такое на самом-то деле? Худая, как общипанный, чахлый цыпленок. В доме и людей-то всего двое: Тереза да Фальдони, хозяйский слуга. Я не знаю, может быть, у него есть и другое какое имя, только он и на это откликается; все его так зовут. Он рыжий, чухна какая-то, кривой, курносый, грубиян: все с Терезой бранится, чуть не дерутся. Вообще сказать, жить мне здесь не так чтобы совсем было хорошо... Чтоб этак всем разом ночью заснуть и успокоиться — этого никогда не бывает. Уж вечно где-нибудь сидят да играют, а иногда и такое делается, что зазорно рассказывать. Теперь уж я все-таки пообвык; а вот удивляюсь, как в таком содоме семейные люди уживаются. Целая семья бедняков каких-то у нашей хозяйки комнату нанимает, только не рядом с другими номерами, а по другую сторону, в углу, отдельно. Люди смиренные! Об них никто ничего и не слышит. Живут они в одной комнатке, огорожая в ней (перегородкою.) Он какой-то чиновник без места, из службы лет семь тому исключенный за что-то. Фамилья его Горшков; такой седенький, маленький; ходит в таком засаленном, в таком истертом платье, что больно смотреть; куда хуже моего! Жалкий, хилый такой (встречаемся мы с ним иногда в коридоре); колени у него дрожат, руки дрожат, голова дрожит, уж от болезни, что ли, какой, бог его знает; робкий, боится всех, ходит стороночкой; уж я застенчив подчас, а этот еще хуже. Семейства у него — жена и трое детей. Старший, мальчик, весь в отца, тоже такой чахлый. Жена была когда-то собою весьма недурна, и теперь заметно; ходит, бедная, в таком жалком отребье. Они, я слышал, задолжали хозяйке; она с ними что-то не слишком ласкова. Слышал тоже, что у самого-то Горшкова неприятности есть какие-то, по которым он и места лишился... процесс не процесс, под судом не под судом, под следствием каким-то, что ли — уж истинно не могу вам сказать. Бедны-то они бедны — господи, бог мой! Всегда у них в комнате тихо и смирно, словно и не живет никто. Даже детей не слышно. И не бывает этого, чтобы когда-нибудь порезвились, поиграли дети, а уж это худой знак. Как-то мне раз, вечером, случилось мимо их дверей пройти; на ту пору в доме стало что-то не по-обычному тихо; слышу

non

accia

avanti

essa

meno

zucco

di carta

incarta

di

letteratura



всхлипывание, потом шепот, потом опять всхлипывание, точно как будто плачут, да так тихо, так жалко, что у меня все сердце надорвалось, и потом всю ночь мысль об этих бедняках меня не покидала, так что и заснуть не удалось хорошенько.

Ну, прощайте, дружочек бесценный мой, Варенька! Описал я вам все, как умел. Сегодня я весь день все только об вас и думаю. У меня за вас, родная моя, все сердце изныло. Ведь вот, душечка моя, я вот знаю, что у вас теплого салапа нет. Уж эти мне петербургские весны, ветры да дождички со снежочком, — уж это смерть моя, Варенька! Такое благорастворение воздуш, что убереги меня, господи! Не взыщите, душечка, на писании; слогу нет, Варенька, слогу нет никакого. Хоть бы какой-нибудь был! Пишу, что на ум взбредет, так, чтобы вас только поразвеселить чем-нибудь. Ведь вот, если б я учился как-нибудь, дело другое; а то ведь как я учился? даже и не на медные деньги.

Ваш всегдашний и верный друг

Макар Деушкин.

Апреля 25-го.

Милостивый государь, Макар Алексеевич!

Сегодня двоюродную сестру мою Сашу встретила! Ужас! и она погибнет, бедная! Услышала я тоже со стороны, что Анна Федоровна все обо мне выведывает. Она, кажется, никогда не перестанет меня преследовать. Она говорит, что хочет простить меня, забыть все прошедшее и что непременно сама навестит меня. Говорит, что вы мне вовсе не родственник, что она ближе мне родственница, что в семейные отношения наши вы не имеете никакого права входить и что мне стыдно и неприлично жить вашей милостыней и на вашем содержании... говорит, что я забыла ее хлеб-соль, что она меня с матушкой, может быть, от голодной смерти избавила, что она нас поила-кормила и с лишком два с половиною года на нас убыточилась, что она нам сверх всего этого долг простила. И матушку-то она пощадить не хотела! А если бы знала бедная матушка, что они со мною сделали! Бог видит!.. Анна Федоровна говорит, что я по глупости моей своего счастья удержать не умела, что она сама меня на

счастье наводила, что она ни в чем остальном не виновата и что я сама за честь свою не умела, а может быть, и не хотела вступиться. А кто же тут виноват, боже великий! Она говорит, что господин Быков прав совершенно и что не на всякой же жениться, которая... да что писать! Жестоко слышать такую неправду, Макар Алексеевич! Я не знаю, что со мною теперь делается. Я дрожу, плачу, рыдаю; это письмо я вам два часа писала. Я думала, что она по крайней мере сознает свою вину предо мною; а она вот как теперь! Ради бога, не тревожьтесь, друг мой, единственный доброжелатель мой! Федора все преувеличивает: я не больна. Я только простудилась немного вчера, когда ходила на Волково к матушке панихиду служить. Зачем вы не пошли вместе со мною; я вас так просила. Ах, бедная, бедная моя матушка, если б ты встала из гроба, если б ты знала, если б ты видела, что они со мною сделали!..

В. Д.

Мая 20-го.

Голубчик мой, Варенька!

Посылаю вам винограду немного, душечка; для выздоровливающей это, говорят, хорошо, да и доктор рекомендует для утоления жажды, так только единственно для жажды. Вам розанчиков намедни захотелось, маточка; так вот я вам их теперь посылаю. Есть ли у вас аппетит, душечка? — вот что главное. Впрочем, слава богу, что все прошло и кончилось и что несчастья наши тоже совершенно оканчиваются. Воздадим благодарение небу! А что до книжек касается, то достать покамест нигде не могу. Есть тут, говорят, хорошая книжка одна, и весьма высоким слогом написанная; говорят, что хороша, я сам не читал, а здесь очень хвалят. Я просил ее для себя; обещались препроводить. Только будете ли вы-то читать? Вы у меня на этот счет привередница; трудно угодить на ваш вкус, уж я вас знаю, голубчик вы мой; вам, верно, все стихотворство надобно, воздыханий, аму-ров, — ну, и стихов достану, всего достану; там есть тетрадка одна переписанная.

Я-то живу хорошо. Вы, маточка, обо мне не беспокойтесь, пожалуйста. А что Федора вам насаждала на меня,



так все это вздор; вы ей скажите, что она налгала, непременно скажите ей, сплетнице!.. Я нового вицмундира совсем не продавал. Да и зачем, сами рассудите, зачем продавать? Вот, говорят, мне сорок рублей серебром награждения выходит, так зачем же продавать? Вы, маточка, не беспокойтесь; она мнительна, Федора-то, она мнительна. Заживем мы, голубчик мой! Только вы-то, ангельчик, выздоравливайте, ради бога, выздоравливайте, не огорчите старика. Кто это говорит вам, что я поху-дел? Клевета, опять клевета! здоровехонек и растолстел так, что самому становится совестно, сыт и доволен по горло; вот только бы вы-то выздоравливали! Ну, прощайте, мой ангельчик; целую все ваши пальчики и пре-бываю

вашим вечным, неизменным другом  
Макаром Девошкиным.

P. S. Ах, душенька моя, что это вы опять в самом деле стали писать?.. о чем вы блажите-то! да как же мне ходить к вам так часто, маточка, как? я вас спрашиваю. Разве темнотою ночью пользуюсь; да вот теперь и но-чей-то почти не бывает: время такое. Я и то, маточка моя, ангельчик, вас почти совсем не покидал во все время болезни вашей, во время беспамятства-то вашего; но и тут я и сам уж не знаю, как я все эти дела обделывал; да и то потом перестал ходить, ибо любопытствовать и расспрашивать начали. Здесь уж и без того сплетня за-плелась какая-то. Я на Терезу надеюсь, она не болтлива; но все же, сами рассудите вы, маточка, каково это будет, когда они все узнают про нас? Что-то они подумают и что они скажут тогда? Так вот вы скрепите сердечко, маточка, да переждите до выздоровления; а мы потом уж так, вне дома, где-нибудь рандеву<sup>1</sup> дадим.

Июня 1-го.

Любезнейший Макара Алексеевич!

Мне так хочется сделать вам что-нибудь угодное и приятное за все ваши хлопоты и старания обо мне, за всю вашу любовь ко мне, что я решилась, наконец, на

<sup>1</sup> Свидание (франц. rendez-vous).

скуку порыться в моем комоде и отыскать мою тетрадь, которую теперь и посылаю вам. Я начала ее еще в счастливое время жизни моей! Вы часто с любопытством расспрашивали о моем прежнем житье-бытье, о матушке, о Покровском, о моем пребывании у Анны Федоровны и наконец, о недавних несчастиях моих и так нетерпеливо желали прочесть эту тетрадь, где мне вздумалось, бог знает для чего, отметить кое-какие мгновения из моей жизни, что я не сомневаюсь принести вам большое удовольствие моею посылкою. Мне же как-то грустно было перечитывать это. Мне кажется, что я уже вдвое поста-рела с тех пор, как написала в этих записках последнюю строчку. Все это писано в разные сроки. Прощайте, Макара Алексеевич! Мне ужасно скучно теперь, и меня часто мучит бессонница. Прескучное выздоровление!

В. Д.

Мне было только четырнадцать лет, когда умер батюшка. Детство мое было самым счастливым временем моей жизни. Началось оно не здесь, но далеко отсюда, в провинции, в глуши. Батюшка был управителем огромного имения князя П—го, в Т—й губернии. Мы жили в одной из деревень князя, и жили тихо, неслышно, счастливо... Я была такая резвая маленькая; только и делаю, бывало, что бегаю по полям, по рощам, по саду, а обо мне никто и не заботился. Батюшка беспрерывно был занят делами, матушка занималась хозяйством; меня ничему не учили, а я тому и рада была. Бывало, с самого раннего утра убегу или на пруд, или в рощу, или на сенокос, или к жнецам — и нужды нет, что солнце печет, что забежишь сама не знаешь куда от селенья, исцарапаешься об кусты, разорвешь свое платье; дома после бранят, а мне и ничего.

И мне кажется, я бы так была счастлива, если б пришлось хоть всю жизнь мою не выезжать из деревни и жить на одном месте. А между тем я еще дитею принуждена была оставить родные места. Мне было еще только двенадцать лет, когда мы в Петербурге переехали. Ах, как я грустно помню наши печальные сборы! Как я плакала, когда прощалась со всем, что так было мило мне. Я помню, что я бросилась на шею батюшке и со



слезами умоляла остаться хоть немножко в деревне. Батюшка закричал на меня, матушка плакала; говорила, что надобно, что дела этого требовали. Старый князь П — й умер. Наследники отказали батюшке от должности. У батюшки были кой-какие деньги в оборотах в руках частных лиц в Петербурге. Надеюсь поправить свои обстоятельства, он почел необходимым свое личное здесь присутствие. Все это я узнала после от матушки. Мы здесь поселились на Петербургской Стороне и прожили на одном месте до самой кончины батюшки.

Как тяжело мне привыкать к новой жизни! Мы въехали в Петербург осенью. Когда мы оставляли деревню, день был такой светлый, теплый, яркий; сельские работы кончались; на гумнах уже громоздились огромные скирды хлеба и толпились крикливые стаи птиц; все было так ясно и весело, а здесь, при въезде нашем в город, дождь, гнилая осенняя изморозь, непогода, слякоть и толпа новых, незнакомых лиц, негостеприимных, недобрых, сердитых! Кое-как мы устроились. Помню, все так суетились у нас, все хлопотали, обзаводились новым хозяйством. Батюшки все не было дома, у матушки не было покойной минуты — меня позабыли совсем. Грустно мне было вставать поутру после первой ночи на нашем новоселье. Окна наши выходили на какой-то желтый забор. На улице постоянно была грязь. Прохожие были редки, и все они так плотно кутались, всем так было холодно.

А дома у нас по целым дням была страшная тоска и скука. Родных и близких знакомых у нас почти не было. С Анной Федоровной батюшка был в ссоре. (Он был ей что-то должен.) Ходили к нам довольно часто люди по делам. Обыкновенно спорили, шумели, кричали. После каждого посещения батюшка делался таким недовольным, сердитым; по целым часам ходит, бывало, из угла в угол, нахмурясь, и ни с кем слова не вымолвит. Матушка не смела тогда и заговорить с ним и молчала. Я садилась куда-нибудь в уголок за книжку — смиренно, тихо, пошевелиться, бывало, не смею.

Три месяца спустя по приезде нашем в Петербург меня отдали в пансион. Вот грустно-то было мне сначала в чужих людях! Все так сухо, неприветливо было, — гувернантки такие крикуньи, девицы такие насмешницы, а я такая дикарка. Строго, взыскательно! Часы на все

положенные, общий стол, скучные учителя — все это меня сначала истерзало, измучило. Я там и спать не могла. Плачу, бывало, целую ночь, длинную, скучную, холодную ночь. Бывало, по вечерам все повторяют или учат уроки; я сижу себе за разговорами или вокабулами, шевельнуться не смею, а сама все думаю про домашний наш угол, про батюшку, про матушку, про мою старушку няню, про нянины сказки... ах, как сгрустнется! Об самой пустой вещице в доме, и о той с удовольствием вспоминаешь. Думаешь-думаешь: вот как бы хорошо теперь было дома! Сидела бы я в маленькой комнатке нашей, у самовара, вместе с нашими; было бы так тепло, хорошо, знакомо. Как бы, думаешь, обняла теперь матушку, крепко-крепко, горячо-горячо! Думаешь-думаешь, да и заплачешь тихонько с тоски, давя в груди слезы, и нейдут на ум вокабулы. Как к завтра урока не выучишь, всю ночь снятся учитель, мадам, девицы; всю ночь во сне уроки твердишь, а на другой день ничего не знаешь. Поставят на колени, дадут одно кушанье. Я была такая невеселая, скучная. Сначала все девицы надо мной смеялись, дразнили меня, сбивали, когда я говорила уроки, щипали, когда мы в рядах шли к обеду или к чаю, жаловались на меня ни за что ни про что гувернантке. Зато какой рай, когда няня придет, бывало, за мной в субботу вечером. Так и обниму, бывало, мою старушку в испуге радости. Она меня оденет, укутает, дорогою не поспекает за мной, а я ей все болтаю, болтаю, рассказываю. Домой приду веселая, радостная, крепко обниму наших, как будто после десятилетней разлуки. Начнутся толки, разговоры, рассказы; со всеми здороваешься, смеешься, хохочешь, бегаешь, прыгаешь. С батюшкой начнутся разговоры серьезные, о науках, о наших учителях, о французском языке, о грамматике Ломонда — и все мы так веселы, так довольны. Мне и теперь весело вспоминать об этих минутах. Я всеми силами старалась учиться и угождать батюшке. Я видела, что он последнее на меня отдавал, а сам бился бог знает как. С каждым днем он становился все мрачнее, недовольнее, сердитее; характер его совсем испортился; дела не удавались, долгов было пропасть. Матушка, бывало, и плакать боялась, слова сказать боялась, чтобы не рассердить батюшку; сделалась больная такая; все худела, худела и стала дурно кашлять. Я, бывало, приду из пансиона —



Июня 11-го.

Как я благодарна вам за вчерашнюю прогулку на острова, Макар Алексеевич! Как там свежо, хорошо, какая там зелень! Я так давно не видала зелени; когда я была больна, мне все казалось, что я умереть должна и что уму непременно; судите же, что я должна была вчера ощущать, как чувствовать! Вы не сердитесь на меня за то, что я была вчера такая грустная; мне было очень хорошо, очень легко, но в самые лучшие минуты мои мне всегда отчего-то грустно. А что я плакала, так это пустяки; я и сама не знаю, отчего я все плачу. Я больно, раздражительно чувствую; впечатления мои болезненны. Безоблачное, бледное небо, закат солнца, вечернее затишье — все это, — я уж не знаю, — но я как-то настроена была вчера принимать все впечатления тяжело и мучительно, так что сердце переполнялось, и душа просила слез. Но зачем я вам все это пишу? Все это трудно сердцу сказывается, а пересказывать еще труднее. Но вы меня, может быть, и поймете. И грусть и смех! Какой вы, право, добрый, Макар Алексеевич! Вчера вы так и смотрели мне в глаза, чтоб прочитать в них то, что я чувствую, и восхищались восторгом моим. Кусточек ли, аллея, полоса воды — уж вы тут; так и стоите передо мной, охорашиваясь, и все в глаза мне заглядываете, точно вы мне свои владения показывали. Это доказывает, что у вас доброе сердце, Макар Алексеевич. За это-то я вас и люблю. Ну, прощайте. Я сегодня опять больна; вчера я ноги промочила и оттого простудилась; Федора тоже чем-то больна, так что мы обе теперь хворые. Не забывайте меня, заходите почаще.

Ваша  
В. Д.

Июня 12-го.

Голубчик мой, Варвара Алексеевна!

А я-то думал, маточка, что вы мне все вчерашнее настоящими стихами опишете, а у вас и всего-то вышел один простой листик. Я к тому говорю, что вы хотя и мало мне в листке вашем написали, но зато необыкновенно хорошо и сладко описали. И природа, и разные

картины сельские, и все остальное про чувства — одним словом, все это вы очень хорошо описали. А вот у меня (так нет таланту). Хоть десять страниц намарай, никак ничего не выходит, ничего не опишешь. Я уж пробовал. — Пишете вы мне, родная моя, что я человек добрый, незлобивый, ко вреду ближнего неспособный и благодать господню, в природе являемую, разумеющий, и разные, наконец, похвалы воздаете мне. Все это правда, маточка, все это совершенная правда; я и действительно таков, как вы говорите, и сам это знаю; но как прочтешь такое, как вы пишете, так поневоле умилится сердце, а потом разные тягостные рассуждения придут. А вот прослушайте меня, маточка, я кое-что расскажу вам, родная моя.

Начну с того, что было мне всего семнадцать годочков, когда я на службу явился, и вот уже скоро тридцать лет стукнет моему служебному поприщу. Ну, нечего сказать, износил я вицмундиров довольно; возмужал, поумнел, людей посмотрел; пожил, могу сказать, что пожил на свете, так, что меня хотели даже раз к получению креста представить. Вы, может быть, не верите, а я вам, право, не лгу. Так что же, маточка, — нашлись на все это злые люди! А скажу я вам, родная моя, что я хоть и темный человек, глупый человек, пожалуй, но сердце-то у меня такое же, как и у другого кого. Так знаете ли, Варенька, что сделал мне злой человек? А срамно сказать, что он сделал; спросите — отчего сделал? А оттого, что я смиренный, а оттого, что я тихонький, а оттого, что добренький! Не пришлось им по нраву, так вот и пошло на меня. Сначала началось тем, что «дескать, вы, Макар Алексеевич, того да сего»; а потом стало — «что, дескать, у Макара Алексеевича и не спрашивайте». А теперь заключили тем, что «уж, конечно, это Макар Алексеевич!» Вот, маточка, видите ли, как дело пошло: все на Макара Алексеевича; они только и умели сделать, что в послову ввели Макара Алексеевича в целом ведомстве нашем. Да мало того, что из меня половицу и чуть ли не бранное слово сделали, — до сапогов, до мундира, до волюс, до фигуры моей добрались: все не по ним, все переделывать нужно! И ведь это все с незапамятных времен каждый божий день повторяется. Я привык, потому что я ко всему привыкаю, потому что я смиренный человек, потому что я маленький человек; но, однакоже, за что это



все? Что я кому дурного сделал? Чин перехватил у кого-нибудь, что ли? Перед высшими кого-нибудь очернил? Награждение перепросил? Кабалу стряпал, что ли, какую-нибудь? Да грех вам и подумать-то такое, маточка! Ну куда мне все это? Да вы только рассмотрите, родная моя, имею ли я способности достаточные для коварства и честолюбия? Так за что же напасти такие на меня, прости господи? Ведь вы же находите меня человеком достойным, а вы не в пример лучше их всех, маточка. Ведь какая самая наибольшая гражданская добродетель? Отнеслись наемни в частном разговоре Евстафий Иванович, что важнейшая добродетель гражданская — деньги уметь зашибить. Говорили они шуточкой (я знаю, что шуточкой), нравоучение же то, что не нужно быть никому в тягость собою, а я никому не в тягость! У меня кусок хлеба есть свой; правда, простой кусок хлеба, подчас даже черствый, но он есть, трудами добытый, законно и безукоризненно употребляемый. Ну что ж делать! Я ведь и сам знаю, что я немного делаю тем, что переписываю; да все-таки я этим горжусь: я работаю, я пот проливаю. Ну что ж тут в самом деле такого, что переписываю! Что, грех переписывать, что ли? «Он, дескать, переписывает!» «Эта, дескать, крыса-чиновник переписывает!» Да что же тут бесчестного такого? Письмо такое четкое, хорошее, приятно смотреть, и его превосходительство довольны, я для них самые важные бумаги переписываю. Ну, слогу нет, ведь я это сам знаю, что нет его, проклятого; вот потому-то я и службой не взял, и даже вот к вам теперь, родная моя, пишу спроста, без затей и так, как мне мысль на сердце ложится... Я это все знаю; да, однакоже, если бы все сочинять стали; так кто же бы стал переписывать? Я вот какой вопрос делаю, и вас прошу отвечать на него, маточка. Ну, так я и сознаю теперь, что я нужен, что я необходим и что нечего вздором человека с толку сбивать. Ну, пожалуй, пусть крыса, коли сходство нашли! Да крыса-то эта нужна, да крыса-то пользу приносит, да за крысу-то эту держатся, да крысе-то этой награждение выходит, — вот она крыса какая! Впрочем, довольно об этой материи, родная моя; я ведь и не о том хотел говорить, да так погорячился немного. Все-таки приятно от времени до времени себе справедливость воздать. Прощайте, родная моя, го-

лубчик мой, утешительница вы моя добренькая! Зайду, непременно к вам зайду, проведу вас, моя ясочка. А вы не скучайте покамест. Книжку вам принесу. Ну, прощайте же, Варенька.

Ваш сердечный доброжелатель

Макар Девушкин.

Июня 20-го.

Милостивый государь, Макар Алексеевич!

Пишу я к вам наскоро, спешу, работу к сроку кончаю. Видите ли, в чем дело: можно попку сделать хорошую. Федора говорит, что продается у ее знакомого какого-то вицмундир форменный, совершенно новехонький, нижнее платье, жилетка и фуражка, и, говорят, все весьма дешево; так вот вы бы купили. Ведь вы теперь не нуждаетесь, да и деньги у вас есть; вы сами говорите, что есть. Полноте, пожалуйста, не скупитесь; ведь это все нужное. Посмотрите-ка на себя, в каком вы старом платье ходите. Срам! все в заплатках. Нового-то у вас нет; это я знаю, хоть вы и уверяете, что есть. Уж бог знает, куда вы его с рук сбыли. Так послушайте же меня, купите, пожалуйста. Для меня это сделайте; коли меня любите, так купите.

Вы мне прислали белья в подарок; но послушайте, Макар Алексеевич, ведь вы разоряетесь. Шутка ли, сколько вы на меня истратили, — ужас сколько денег! Ах, как же вы любите мотать! Мне не нужно; все это было совершенно лишнее. Я знаю, я уверена, что вы меня любите; право, лишнее напоминать мне это подарками; а мне тяжело их принимать от вас; я знаю, чего они вам стоят. Единожды навсегда — полноте; слышите ли? Прошу вас, умоляю вас. Просите вы меня, Макар Алексеевич, прислать продолжение записок моих; желаете, чтобы я их dokonчила. Я не знаю, как написалось у меня и то, что у меня написано! Но у меня сил неостанет говорить теперь о моем прошедшем; я и думать об нем не желаю; мне страшно становится от этих воспоминаний. Говорить же о бедной моей матушке, оставившей свое бедное дитя в добычу этим чудовищам, мне тяжелее всего. У меня сердце кровью обливается при одном воспоминании. Все это еще так свежо: я не успела оду-



хорошо, — словно в гнездышке приютились. Да и нас-то вы как без головы оставите. Ну, что мы будем делать без вас; что я, старик, буду делать тогда? Вы нам не нужны? Не полезны? Как не полезны? Нет, вы, маточка, сами рассудите, как же вы не полезны? Вы мне очень полезны, Варенька. Вы этакое влияние имеете благотворное... Вот я об вас думаю теперь, и мне весело... Я вам иной раз письмо напишу и все чувства в нем изложу, на что подробный ответ от вас получаю. Гардеробцу вам накупил, шляпку сделал; от вас комиссия подчас выводит какая-нибудь, я и комиссию... Нет, как же вы не полезны? Да и что я один буду делать на старости, на что годиться буду? Вы, может быть, об этом и не подумали, Варенька; нет, вы именно об этом подумайте — что вот, дескать, на что он будет без меня-то годиться? Я привык к вам, родная моя. А то что из этого будет? Пойду к Неве, да и дело с концом. Да право же, будет такое, Варенька; что же мне без вас делать останется! Ах, душечка моя, Варенька! Хочется, видно, вам, чтобы меня ломовой извозчик на Волково свез; чтобы какая-нибудь там нищая старуха-пошлѣпница одна мой гроб проводжала, чтобы меня там песком засыпали, да прочь пошли, да одного там оставили. Грешно, грешно, маточка! Право, грешно, ей-богу грешно! Отсылаю вам вашу книжку, дружочек мой, Варенька, и если вы, дружочек мой, спросите мнения моего насчет вашей книжки, то я скажу, что в жизнь мою не случилось мне читать таких славных книжек. Спрашиваю я теперь себя, маточка, как же это я жил до сих пор таким олухом, прости господи? Что делал? Из каких я лесов? Ведь ничего-то я не знаю, маточка, ровно ничего не знаю! совсем ничего не знаю! Я вам, Варенька, спроста скажу, — я человек неученый; читал я до сей поры мало, очень мало читал, да почти ничего: «Картину человека», умное сочинение, читал; «Мальчика, наигрывающего разные штучки на колокольчиках» читал да «Ивиковы журавли» — вот только и всего, а больше ничего никогда не читал. Теперь я «Станционного смотрителя» здесь в вашей книжке прочел; ведь вот скажу я вам, маточка, случается же так, что живешь, а не знаешь, что под боком там у тебя книжка есть, где вся-то жизнь твоя, как по пальцам, разложена. Да и что самому прежде невдогад было, так вот здесь, как начнешь читать в такой книжке, так сам все пома-

леньку и припомнишь, и разыщешь, и разгадаешь. И, наконец, вот отчего еще я полюбил вашу книжку: иное творение, какое там ни есть, читаешь-читаешь, иной раз хоть тресни — так хитро, что как будто бы его и не понимаешь. Я, например, — я туп, я от природы моей туп, так я не могу слишком важных сочинений читать; а это читаешь, — словно сам написал; точно это, примерно говоря, мое собственное сердце, какое уж оно там ни есть, взял его, людям выворотил изнанкой, да и описал все подробно — вот как! Да и дело-то простое, бог мой; да чего! право, и я так же бы написал; отчего же бы и не написал? Ведь я то же самое чувствую, вот совершенно так, как и в книжке, да я и сам в таких же положениях подчас находясь, как, примерно сказать, этот Самсон-то Вырин, бедняга. Да и сколько между нами-то ходит Самсонов Выриных, таких же горемык сердечных! И как ловко описано все! Меня чуть слезы не прошибли, маточка, когда я прочел, что он спился, грешный, так, что память потерял, горьким сделался и спит себе целый день под овчинным тулупом, да горе пуншиком захлебывает, да плачет жалостно, грязной полою глаза утирая, когда вспоминает о заблудшей овечке своей, об дочке Дуняше. Нет, это натурально! Вы прочтите-ка; это натурально! это живет! Я сам это видал, — это вот все около меня живет; вот хоть Тереза — да чего далеко ходить! — вот хоть бы и наш бедный чиновник, — ведь он, может быть, такой же Самсон Вырин, только у него другая фамилия, Горшков. Дело-то оно общее, маточка, и над вами и надо мной может случиться. И граф, что на Невском или на набережной живет, и он будет то же самое, так только казаться будет другим, потому что у них все по-своему, по высшему тону, но и он будет то же самое, все может случиться, и со мной то же самое может случиться. Вот оно что, маточка, а вы еще тут от нас отходить хотите; да ведь грех, Варенька, может застигнуть меня. И себя и меня сгубить можете, родная моя. Ах, ясочка вы моя, выкиньте, ради бога, из головки своей все эти вольные мысли и не терзайте меня напрасно. Ну, где же, птенчик вы мой слабенький, не оперившийся, где же вам самое себя прокормить, от погребели себя удержать, от злодеев защититься! Полноте, Варенька, поправьтесь; вздорных советов и наговоров не слушайте, а книжку вашу еще



раз прочтите, со вниманием прочтите: вам это пользу принесет.

Говорил я про «Станционного зрителя» Ратазяеву. Он мне сказал, что это все старое и что теперь всё пошли книжки с картинками и с разными описаниями; уж я, право, в толк не взял хорошенько, что он тут говорил такое. Заключил же, что Пушкин хорош, и что он святую Русь прославил, и много еще мне про него говорил. Да, очень хорошо, Варенька, очень хорошо; прочтите-ка книжку еще раз со вниманием, советам моим последуйте и послушанием своим меня, старика, осчастливьте. Тогда сам господь наградит вас, моя родная, непременно наградит.

Ваш искренний друг

*Макар Девушкин.*

*Июля 6-го.*

Милостивый государь, Макар Алексеевич!

Федора принесла мне сегодня пятнадцать рублей серебром. Как она была рада, бедная, когда я ей три целковых дала! Пишу вам наскоро. Я теперь крою вам жилетку, — прелесть какая материя, — желтенькая с цветочками. Посылаю вам одну книжку; тут всё разные повести; я прочла кое-какие; прочтите одну из них под названием «Шинель». — Вы меня уговариваете в театр идти вместе с вами; не дорого ли это будет? Разве уж куда-нибудь в галерею. Я уж очень давно не была в театре, да и, право, не помню когда. Только опять все боюсь, не дорого ли будет стоять эта затея? Федора только головой покачивает. Она говорит, что вы совсем не по недостаткам жить начали; да я и сама это вижу; сколько вы на меня одну истратили! Смотрите, друг мой, не было бы беды. Федора и так мне говорила про какие-то слухи, что вы имели, кажется, спор с вашей хозяйкой за неуплату ей денег; я очень боюсь за вас. Ну, прощайте; я спешу. Дело есть маленькое; я переменяю ленты на шляпке.

*В. Д.*

Р. С. Знаете ли, если мы пойдем в театр, то я надену мою новенькую шляпку, а на плеча черную мантилью. Хорошо ли это будет?

*Июля 7-го.*

Милостивая государыня, Варвара Алексеевна!

...Так вот я все про вчерашнее. Да, маточка, и на нас в оно время блажь находила. Врезался в эту актрисочку, по уши врезался, да это бы еще ничего; а самое-то чудное то, что я ее почти совсем не видал и в театре был всего один раз, а при всем том врезался. Жили тогда со мною стенка об стенку человек пятеро молодого, раззадорного народу. Сошелся я с ними, поневоле сошелся, хотя всегда был от них в пристойных границах. Ну, чтобы не отстать, я и сам им во всем поддакиваю. Наказали они мне об этой актриске! Каждый вечер, как только театр идет, вся компания — на нужное у них никогда гроша не бывало — вся компания отправлялась в театр, в галерею, и уж хлопают-хлопают, вызывают-вызывают эту актриску — просто беснуются! А потом и заснуть не дадут; всю ночь напролет об ней толкуют, всякий ее своей Глашей зовет, все в одну в нее влюблены, у всех одна канарейка на сердце. Раззадорили они и меня, беззащитного; я тогда еще молоденок был. Сам не знаю, как очутился я с ними в театре, в четвертом ярусе, в галерее. Видеть-то я один только краешек занавески видел, зато все слышал. У актрисочки точно голосок был хорошенький — звонкий, соловьиный, медовый! Мы все руки у себя отхлопали, кричали-кричали, — одним словом, до нас чуть не добрались, одного уж и вывели, правда. Пришел я домой, — как в чаду жожу! в кармане только один целковый рубль оставался, а до жалованья еще добрых дней десять. Так как вы думали, маточка? на другой день, прежде чем на службу идти, завернул я к парфюмеру-французу, купил у него духов каких-то да мыла благовонного на весь капитал — уж и сам не знаю, зачем я тогда накупил всего этого? Да и не обедал дома, а все мимо ее окон ходил. Она жила на Невском, в четвертом этаже. Пришел домой, часочек какой-нибудь там отдохнул и опять на Невский пошел, чтобы только мимо ее окошек пройти, Полтора месяца я ходил таким образом, волочился за нею; извозчиков-лихачей нанимал поминутно и все мимо ее окон концы давал: замотался совсем, задолжал, а потом уж и разлюбил ее: наскучило!



Так вот что актриска из порядочного человека сделать в состоянии, маточка! Впрочем, молоденек-то я, молоденек был тогда!..

М. Д.

Июля 8-го.

Милостивая государыня моя,  
Барвара Алексеевна!

Книжку вашу, полученную мною 6-го сего месяца, спешу возвратить вам и вместе с тем спешу в сем письме моем объяснить с вами. Дурно, маточка, дурно то, что вы меня в такую крайность поставили. Позвольте, маточка: всякое состояние определено всевышним на долю человеческую. Тому определено быть в генеральских эполетах, этому служить титулярным советником; такому-то повелевать, а такому-то безропотно и в страхе повиноваться. Это уже по способности человека рассчитано; иной на одно способен, а другой на другое, а способности устроены самим богом. Состою я уже около тридцати лет на службе; служу безукоризненно, поведения трезвого, в беспорядках никогда не замечен. Как гражданин, считаю себя, собственным сознанием моим, как имеющего свои недостатки, но вместе с тем и добродетели. Уважаем начальством, и сами его превосходительство мною довольны; и хотя еще они доселе не оказывали мне особенных знаков благорасположения, но я знаю, что они довольны. Дожил до седых волос; греха за собою большого не знаю. Конечно, кто же в малом не грешен? Всякий грешен, и даже вы грешны, маточка! Но в больших проступках и продерзостях никогда не замечен, чтобы так против постановлений что-нибудь или в нарушении общественного спокойствия, в этом я никогда не замечен, этого не было; даже крестик выходил — ну да уж что! Все это вы по совести должны бы были знать, маточка, и он должен бы был знать; уж как взялся описывать, так должен бы был все знать. Нет, я этого не ожидал от вас, маточка: нет, Варенька! вот от вас-то именно такого и не ожидал.

Как! Так после этого и жить себе смирно нельзя, в уголочке своем, — каков уж он там ни есть, — жить

водой не замуля, по пословице, никого не трогая, зная страх божий, да себя самого, чтобы и тебя не затронули, чтобы и в твою конуру не пробралась да не подсмотрели — что, дескать, как ты себе там по-домашнему, что вот есть ли, например, у тебя жилетка хорошая, водится ли у тебя что следует из нижнего платья; есть ли сапоги, да и чем подбиты они; что ешь, что пьешь, что переписываешь?.. Да и что же тут такого, маточка, что вот хоть бы и я, где мостовая плоховата, пройду иной раз на цыпочках, что я сапоги берегу! Зачем писать про другого, что вот-де он иной раз нуждается, что чаю не пьет? А точно все и должны уж так непременно чай пить! Да разве я смотрю в рот каждому, что, дескать, какой он там кусок жует? Кого же я обижал таким образом? Нет, маточка, зачем же других обижать, когда тебя не затрогивают! Ну, и вот вам пример, Варвара Алексеевна, вот что значит оно: служишь-служишь, ревностно, усердно, — чего! — и начальство само тебя уважает (уж как бы там ни было, а все-таки уважает); — и вот кто-нибудь под самым носом твоим, безо всякой видимой причины, ни с того ни с сего, испечет тебе пасквиль. Конечно, правда, иногда сошьешь себе что-нибудь новое, — радуешься, не спишь, а радуешься, сапоги новые, например, с таким сладострастием надеваешь — это правда, я ощущал, потому что приятно видеть свою ногу в тонком щегольском сапоге, — это верно описано! Но я все-таки истинно удивляюсь, как Федор-то Федорович без внимания книжку такую пропустили и за себя не вступились. Правда, что он еще молодой сановник и любит подчас покричать; но отчего же и не покричать? Отчего же и не распечь, коли нужно нашего брата распечь. Ну да положим, и так, например, для тона распечь — ну и для тона можно; нужно приучать; нужно острстку давать; потому что — между нами будь это, Варенька, — наш брат ничего без острстки не сделает, всякий норовит только где-нибудь числиться, что вот, дескать, я там-то и там-то, а от дела-то бочком да стороночкой. А так как разные чины бывают, и каждый чин требует совершенно соответственной по чину распеканции, то естественно, что после этого и тон распеканции выходит разночинный, — это в порядке вещей! Да ведь на том и свет стоит, маточка, что все мы один перед другим тону задаем, что всяк из нас один другого распе-



кает. Без этой предосторожности и свет бы не стоял и порядка бы не было. Истинно удивляюсь, как Федор Федорович такую обиду пропустили без внимания!

И для чего же такое писать? И для чего оно нужно? Что мне за это шинель кто-нибудь из читателей сделает, что ли? Сапоги, что ли, новые купит? Нет, Варенька, прочтет да еще продолжения потребует. Прячешься иногда, прячешься, скрываешься в том, чем не взял, боишься нос подчас показать — куда бы там ни было, потому что пересуда трепещешь, потому что из всего что ни есть на свете, из всего тебе пасквиль сработают, и вот уж вся гражданская и семейная жизнь твоя по литературе ходит, все напечатано, прочитано, осмеяно, пересушено! Да тут и на улицу нельзя показаться будет; ведь тут это все так доказано, что нашего брата по одной походке! узнаешь теперь. Ну, добро бы он под концом-то хоть исправился, что-нибудь бы смягчил, поместил бы, например, хоть после того пункта, как ему бумажки на голову сыпали: что вот, дескать, при всем этом он был добродетелен, хороший гражданин, такого обхождения от своих товарищей не заслуживал, послушествовал старшим (тут бы пример можно какой-нибудь), никому зла не желал, верил в бога и умер (если ему хочется, чтобы он уж непременно умер) — оплаканный. А лучше всего было бы не оставлять его умирать, беднягу, а сделать бы так, чтобы шинель его отыскалась, чтобы тот генерал, узнавши подробнее об его добродетелях, перепросил бы его в свою канцелярию, повысил чином и дал бы хороший оклад жалованья, так что, видите ли, как бы это было: зло было бы наказано, а добродетель восторжествовала бы, и канцеляристы товарищи все бы ни с чем и остались. Я бы, например, так сделал; а то что тут у него особенного, что у него тут хорошего? Так, пустой какой-то пример из вседневного, подлого быта. Да и как вы-то решились мне такую книжку прислать, родная моя. Да ведь это злонамеренная книжка, Варенька; это просто неправдоподобно, потому что и случиться не может, чтобы был такой чиновник. Да ведь после такого надо жаловаться, Варенька, формально жаловаться.

Покорнейший слуга ваш

Макар Девушкин.

Милостивый государь, Макар Алексеевич!

Последние происшествия и письма ваши испугали, поразили меня и повергли в недоумение, а рассказы Федоры объяснили мне все. Но зачем же было так отчаиваться и вдруг упасть в такую бездну, в какую вы упали, Макар Алексеевич? Ваши объяснения вовсе не удовлетворяли меня. Видите ли, была ли я права, когда настаивала взять то выгодное место, которое мне предлагали. К тому же и последнее мое приключение пугает меня не на шутку. Вы говорите, что любовь ваша ко мне заставила вас таиться от меня. Я и тогда уже видела, что многим обязана вам, когда вы уверяли, что издерживаете на меня только запасные деньги свои, которые, как говорили, у вас в ломбарде на всякий случай лежали. Теперь же, когда я узнала, что у вас вовсе не было никаких денег, что вы, случайно узнавши о моем бедственном положении и тронувшись им, решились издержать свое жалованье, забрав его вперед, и продали даже свое платье, когда я больна была, — теперь я, открытием всего этого поставлена в такое мучительное положение, что до сих пор не знаю, как принять все это и что думать об этом. Ах! Макар Алексеевич! вы должны были остановиться на первых благодеяниях своих, внушенных вам состраданием и родственною любовью, а не расточать деньги впоследствии на ненужное. Вы изменили дружбе нашей, Макар Алексеевич, потому что не были откровенны со мною, и теперь, когда я вижу, что ваше последнее пошло мне на наряды, на конфеты, на прогулки, на театр и на книги, — то за все это я теперь дорого плачу сожалением о своей непростительной ветрености (ибо я принимала от вас все, не заботясь о вас самих); и все то, чем вы хотели доставить мне удовольствие, обратилось теперь в горе для меня и оставило по себе одно бесполезное сожаление. Я заметила вашу тоску в последнее время, и хотя сама тоскливо ожидала чего-то, но то, что случилось теперь, мне и в ум не входило! Как! вы до такой уже степени могли упасть духом, Макар Алексеевич! Но что теперь о вас подумают, что теперь скажут о вас все, кто вас знает? Вы, которого я и все уважали за доброту души, скромность и благородие, вы теперь вдруг впали в такой отвратительный порок, в котором, кажется, никогда не были замечены прежде. Что со мною было,



лишился. Посему теперь, свидетельствуя вам мою привязанность, любовь и уважение, пребываю, милостивая государыня моя, Варвара Алексеевна,

покорнейшим слугою вашим

Макаром Девушкиным.

Июля 29-го.

Милостивый государь,  
Макар Алексеевич!

Я прочла ваши оба письма, да так и ахнула! Послушайте, друг мой, вы или от меня умалчиваете что-нибудь и написали мне только часть всех неприятностей ваших, или... право, Макар Алексеевич, письма ваши еще отзываются каким-то расстройством... Приходите ко мне, ради бога, приходите сегодня; да послушайте, вы знаете, уж так прямо приходите к нам обедать. Я уж и не знаю, как вы там живете и как с хозяйкой вашей уладились. Вы об этом обо всем ничего не пишете и как будто с намерением умалчиваете. Так до свидания, друг мой; приходите к нам непременно сегодня; да уж лучше бы вы сделали, если б и всегда приходили к нам обедать. Федора готовит очень хорошо. Прощайте.

Ваша

Варвара Доброселова.

Августа 1-го.

Матушка, Варвара Алексеевна!

Рады вы, матушка, что бог вам случай послал в свою очередь за добро добром отслужить и меня отблагодарить. Я этому верю, Варенька, и в доброту ангельского сердечка вашего верю, и не в укор вам говорю, — только не попрекайте меня, как тогда, что я на старости лет заматался. Ну, уж был грех такой, что ж делать! — если уж хотите непременно, чтобы тут грех какой был; только вот от вас-то, дружок мой, слушать такое мне многого стоит! А вы на меня не сердитесь, что я это говорю; у меня в груди-то, маточка, все изныло. Бедные люди капризны, — это уж так от природы устроено. Я это и прежде чувствовал. Он, бедный-то человек, он взыскателен; он и на свет-то божий иначе смотрит, и на каждого про-

хожего косо глядит, да вокруг себя смущенным взором поводит, да прислушивается к каждому слову, — дескать, не про него ли там что говорят? Что вот, дескать, что же он такой неказистый? чтобы он такое именно чувствовал? что вот, например, каков он будет с этого боку, каков будет с того боку? И ведомо каждому, Варенька, что бедный человек хуже веточки и никакого ни от кого уважения получить не может, что уж там ни пиши! они-то, пачкуны-то эти, что уж там ни пиши! — все будет в бедном человеке так, как и было. А отчего же так и будет по-прежнему? А оттого, что уж у бедного человека, по-ихнему, все наизнанку должно быть; что уж у него ничего не должно быть заветного, там амбиции какой-нибудь, ни-ни-ни! Вон Емеля говорил намеренно, что ему где-то подписку делали, так ему за каждый гривенник, в некотором роде, официальный осмотр делали. Они думали, что они даром свои гривенники ему дают — а нет: они заплатили за то, что им бедного человека показывали. Нынче, маточка, и благодеяния-то как-то чудно делаются... а может быть, и всегда так делались, кто их знает! Или не умеют они делать, или уж мастера большие — одно из двух. Вы, может быть, этого не знали, ну, так вот вам! В чем другом мы пас, а уж в этом известны! А почему бедный человек знает все это да думает все такое? А почему? — ну, по опыту! А оттого, например, что он знает, что есть под боком у него такой господин, что вот идет куда-нибудь к ресторану да говорит сам с собой: что вот, дескать, эта голь-чиновник что будет есть сегодня? а я соте-папильйот буду есть, а он, может быть, кашу без масла есть будет. А какое ему дело, что я буду кашу без масла есть? Бывает такой человек, Варенька, бывает, что только об таком и думает. И они ходят, па-  
скилянты неприличные, да смотрят, что, дескать, всей ли ногой на камень ступаешь али носочком одним; что-де вот у такого-то чиновника, такого-то ведомства, титулярного советника, из сапога голые пальцы торчат, что вот у него локти продраны — и потом там себе это всё и описывают и дрянь такую печатают... А какое тебе дело, что у меня локти продраны? Да уж если вы мне простите, Варенька, грубое слово, так я вам скажу, что у бедного человека на этот счет тот же самый стыд, как и у вас, примером сказать, девический. Ведь вы перед всеми — грубое-то словцо мое простите — разоблачатся не



станете; вот так точно и бедный человек не любит, чтобы в его конуру заглядывали, что, дескать, каковы-то там его отношения будут семейные — вот. А то что было тогда обижать меня, Варенька, купно со врагами моими, на честь и амбицию честного человека посягающими!

Да и в присутствии-то я сегодня сидел таким медвежонком, таким воробьем ощипанным, что чуть сам за себя со стыда не сгорел. Стыдненько мне было, Варенька! Да уж натурально робеешь, когда сквозь одежду голые локти светятся да пуговики на ниточках мотаются. А у меня, как нарочно, все это было в таком беспорядке! По неволе упадаешь духом. Чего!.. сам Степан Карлович сегодня начал было по делу со мной говорить, говорил-говорил, да как будто невзначай и прибавил: «Эх вы, батюшка Макар Алексеевич!» да и не договорил остального-то, об чем он думал, а только я уж сам обо всем догадался, да так покраснел, что даже лысина моя покраснела. Оно в сущности-то и ничего, да все-таки беспокорно, на размышления наводит тяжкие. Уже не проводили ли чего они! А боже сохрани, ну, как об чем-нибудь проводили! Я, признаюсь, подозреваю, сильно подозреваю одного человечка. Ведь этим злодеям нипочем! выдадут! всю частную твою жизнь ни за грош выдадут, — святого ничего не имеется.

Я знаю теперь, чья это штука: это Ратазьева штука. Он с кем-то знаком в нашем ведомстве, да, верно, так, между разговором, и передал ему все с прибавлениями; или, пожалуй, рассказал в своем ведомстве, а оно вышло в наше ведомство. А в квартире у нас все все до последнего знают и к вам в окно пальцем показывают: это уж я знаю, что показывают. А как я вчера к вам обедать пошел, то все они из окон довысовывались, а хозяйка сказала, что вот, дескать, черт с младенцем связались, да и вас она назвала потом неприлично. Но все же это ничто перед гнусным намерением Ратазьева нас с вами в литературу свою поместить и в тонкой сатире нас описать; он это сам говорил, а мне добрые люди из наших пересказали. Я уж и думать ни о чем не могу, маточка, и решиться не знаю на что. Нечего греха таить, прогневили мы господа бога, ангельчик мой! Вы, маточка, мне книжку какую-то хотели, ради скуки, прислать. А ну ее, книжку, маточка! Что она, книжка? Она небылица в лицах! И роман вздор, и для вздора написан, так, празд-

ным людям читать: поверьте мне, маточка, опытности моей многолетней поверьте. И что там если они вас заговорят Шекспиром каким-нибудь, что, дескать, видишь ли, в литературе Шекспир есть, — так и Шекспир вздор, все это сущий вздор, и все для одного пасквиля сделано!

Ваш

Макар Девушкин.

Августа 2-го.

Милостивый государь, Макар Алексеевич!

Не беспокойтесь ни об чем; даст господь бог все уладится. Федора достала и себе и мне кучу работы, и мы превесело принялись за дело; может быть, и все поправим. Подозревает она, что все мои последние неприятности не чужды Анны Федоровны; но теперь мне все равно. Мне сегодня как-то необыкновенно весело. Вы хотите занимать деньги; сохрани вас господи! после не обретесь беды, когда отдавать будет нужно. Лучше живите-ка с нами покороче, приходите к нам почаще и не обращайтесь на вашу хозяйку. Что же касается до остальных врагов и недоброжелателей ваших, то я уверена, что вы мучаетесь напрасными сомнениями, Макар Алексеевич! Смотрите, ведь я вам говорила прошедший раз, что у вас слог чрезвычайно неровный. Ну, прощайте, до свиданья. Жду вас непременно к себе.

Ваша

В. Д.

Августа 3-го.

Ангельчик мой, Варвара Алексеевна!

Спешу вам сообщить, жизненочек вы мой, что у меня надежды родились кое-какие. Да позвольте, дочечка вы моя, — пишете, ангельчик, чтоб мне займов не делать? Голубчик вы мой, невозможно без них; уж и мне-то худо, да и с вами-то, чего доброго, что-нибудь вдруг да не так! Ведь вы слабенкие; так вот я к тому и пишу, что занять-то непременно нужно. Ну, так я и продолжаю.

Замечу вам, Варвара Алексеевна, что в присутствии я сию рядом с Емельяном Ивановичем. Это не с тем Емельяном, которого вы знаете. Этот, так же как и я, титулярный советник, и мы с ним во всем нашем



когда о себе не заботились. Все, конечно, скажут, что у вас доброе сердце, но я скажу, что оно уж слишком добро. Я вам даю дружеский совет, Макар Алексеевич. Я вам благодарна, очень благодарна за все, что вы для меня сделали, я все это очень чувствую; так судите же, каково мне видеть, что вы и теперь, после всех ваших бедствий, которых я была невольною причиною, — что и теперь живете только тем, что я живу: моими радостями, моими горестями, моим сердцем! Если принимать все чужое так к сердцу и если так сильно всему сочувствовать, то, право, есть отчего быть несчастнейшим человеком. Сегодня, когда вы вошли ко мне после должности, я испугалась, глядя на вас. Вы были такой бледный, перепуганный, отчаянный: на вас лица не было, — и все оттого, что вы боялись мне рассказать о своей неудаче, боялись меня огорчить, меня испугать, а как увидели, что я чуть не засмеялась, то у вас почти все отлегло от сердца. Макар Алексеевич! вы не печальтесь, не отчаивайтесь, будьте благоразумнее, — прошу вас, умоляю вас об этом. Ну, вот вы увидите, что все будет хорошо, все переменится к лучшему; а то вам тяжело будет жить, вечно тоскуя и болея чужим горем. Прощайте, мой друг; умоляю вас, не беспокойтесь слишком обо мне

В. Д.

Августа 5-го.

Голубчик мой Варенька!

Ну, хорошо, ангельчик мой, хорошо! Вы решили, что еще не беда оттого, что я денег не достал. Ну, хорошо, я спокоен, я счастлив на ваш счет! Даже рад, что вы меня, старика, не покидаете и на этой квартире останетесь. Да уж если все говорить, так и сердце-то мое все радостью переполнилось, когда я увидел, что вы обо мне в своем письмеце так хорошо написали и чувствам моим должную похвалу воздали. Я это не от гордости говорю, но оттого, что вижу, как вы меня любите, когда об сердце моем так беспокоитесь. Ну, хорошо; что уж теперь об сердце-то моем говорить! Сердце само по себе; а вот вы наказываете, маточка, чтобы я малодушным не был. Да, ангельчик мой, пожалуй, и сам скажу, что не нужно его, малодушная-то; да при всем этом решите сами, маточка

моя, в каких сапогах я завтра на службу пойду! Вот оно что, маточка; а ведь подобная мысль погубить человека может, совершенно погубить. А главное, родная моя, что я не для себя и тужу, не для себя и страдаю; по мне, все равно, хоть бы и в трескучий мороз без шинели и без сапогов ходить, я перетерплю и все вынесу, мне ничего; человек-то я простой, маленький, — но что люди скажут? Враги-то мои, злые-то языки эти все что заговоят, когда без шинели пойдешь? Ведь для людей и в шинели ходишь, да и сапоги, пожалуй, для них же носишь. Сапоги в таком случае, маточка, душечка вы моя, нужны мне для поддержки чести и доброго имени; в дырявых же сапогах и то и другое пропало, — поверьте, маточка, опытности моей многолетней поверьте; меня, старика, знающего свет и людей, послушайте, а не пачкунов каких-нибудь и марателей.

А я вам еще и не рассказывал в подробности, маточка, как это в сущности все было сегодня, чего я натерпелся сегодня. А того я натерпелся, столько тяготы душевной в одно утро вынес, чего иной и в целый год не вынесет. Вот оно было как: пошел, во-первых, я, раным-ранешенько, чтобы и его-то застать, да и на службу поспеть. Дождь был такой, слякоть такая была сегодня! Я, ясочка моя, в шинель-то закутался, иду-иду да все думаю: «Господи! прости, дескать, мои согрешения и пошли исполнение желаний». Мимо —ской церкви прошел, перекрестился, во всех грехах покаялся, да вспомнил, что недостойно мне с господом богом уговариваться. Погрузился я в себя самого, и глядеть ни на что не хотелось: так уж, не разбирая дороги, пошел. На улицах было пусто, а кто встречался, так всё такие занятые, озабоченные, да и не диво: кто в такую пору раннюю и в такую погоду гулять пойдет! Артель работников испачканных повстречалась со мною; затолкали меня мужичье! Робость нашла на меня, жутко становилось, уж я об деньгах-то и думать, по правде, не хотел, — на авось так на авось! У самого Воскресенского моста у меня подошва отстала, так что уж и сам не знаю, на чем я пошел. А тут наш писарь Ермолаев повстречался со мною, вытянулся, стоит, глазами провожает, словно на водку просит; эх, братец, подумал я, на водку, уж какая тут водка! Устал я ужасно, приостановился, отдохнул немного, да и потянулся дальше. Нарочно разглядывал, к чему бы мыслями прилепиться,

шинель сапоги

si stacca la suola



развлечься, приободриться: да нет — ни одной мысли ни к чему не мог прилепить, да и загрязнился вдобавок так, что самого себя стыдно стало. Увидел, наконец, я издала дом деревянный, желтый, с мезонином, вроде бельведера — ну, так думаю, так оно и есть, так и Емельян Иванович говорил, — Маркова дом. (Он и есть этот Марков, маточка, что на проценты дает.) Я уж и себя тут не вспомнил; и ведь знал, что Маркова дом, а спросил-таки будочника — чей, дескать, это, братец, дом? Будочник такой грубиян, говорит нехотя, словно сердится на кого-то, слова сквозь зубы цедит, — да уж так, говорит, это Маркова дом. Будочники эти все такие нечувствительные, — а что мне будочник? А вот все как-то было впечатление дурное и неприятное, словом все одно к одному; изо всего что-нибудь выведешь сходное с своим положением, и это всегда так бывает. Мимо дома-то я три конца дал по улице и чем больше хожу, тем хуже становится, — нет, думаю, не даст, ни за что не даст! И человек-то я незнакомый, и дело-то мое щекотливое, и фигурой я не беру, — ну, думаю, как судьба решит; чтобы после только не каяться, за попытку не съедят же меня, — да и отворил потихоньку калитку. А тут другая беда: навязалась на меня дрянная, глупая (собачонка дворная; лезет из кожи, заливаются! И вот такие-то подлые, мелкие случаи и взбесят всегда человека, маточка, и робость на него наведут, и всю решимость, которую заранее обдумал, уничтожат; так что я вошел в дом ни жив ни мертв, вошел да прямо еще на беду, — не разглядел, что такое внизу впотьмах у порога, ступил да и споткнулся об какую-то бабу, а баба молоко из подойника в кувшины цедила и все молоко пролила. Завизжала, затрещала глупая баба, — дескать, куда ты, батюшка, лезешь, чего тебе надо? да и пошла причитать про нелегкое. Я, маточка, это к тому замечаю, что всегда со мной такое же случилось в подобного рода делах; знать, уж мне написано так: вечно-то я зацеплюсь за что-нибудь постороннее. Высунулась на шум старая ведьма и чухонка хозяйка, я прямо к ней, — здесь, дескать, Марков живет? Нет, говорит; постояла, оглядела меня хорошенько. «А вам что до него?» Я объясняю ей, что, дескать, так и так, Емельян Иванович, — ну, и про остальное, — говорю дельце есть. Старуха кликнула дочку — вошла и дочка, девочка в летах, босоногая, — «Кликни отца; он наверху у жильцов, — по-

жалуйте». Вошел я. Комната ничего, на стенах картинки висят, все генералов каких-то портреты, диван стоит, стол круглый, резеда, бальзаминчики, — думаю-думаю, не убираться ли, полно, мне подобра-поздорову, уйти или нет? и ведь, ей-ей, маточка, хотел убежать! Я лучше, думаю, завтра приду; и погода лучше будет, и я-то пережду, а сегодня вон и молоко пролито, и генералы-то смотрят такие сердитые... Я уж и к двери, да он-то вошел — так себе, седенький, глазки такие вороватенькие, в халате за-саленном и веревкой подпоясан. Осведомился, к чему и как, а я ему: дескать, так и так, вот, Емельян Иванович, — рублей сорок, говорю; дело такое, — да и не договорил. Из глаз его увидал, что проиграно дело: «Нет, уж что, говорит, дело, у меня денег нет; а что у вас заклад, что ли, какой?» Я было стал объяснять, что, дескать, заклада нет, а вот Емельян Иванович, — объясняю, одним словом, что нужно. Выслушав все, — нет, говорит, что Емельян Иванович! у меня денег нет. Ну, думаю, так все так; знал я про это, предчувствовал — ну, просто, Варенька, лучше бы было, если бы земля подо мной расступилась; холод такой, ноги околели, мурашки по спине пробежали. Я на него смотрю, а он на меня смотрит да чуть не говорит, что, дескать, ступай-ка ты, брат, здесь тебе нечего делать, — так что, если б в другом случае было бы такое же, так совсем бы засовестился. «Да что вам, зачем деньги надобны?» (ведь вот про что спросил, маточка!) Я было рот разинул, чтобы только так не стоять даром, да он и слушать не стал — нет, говорит, денег нет; я бы, говорит, с удовольствием. Уж я ему представлял, представлял, говорю, что ведь я немножко, я, дескать, говорю, вам отдам, в срок отдам, и что я еще до срока отдам, что и процент пусть какой угоден берет и что я, ей-богу, отдам. Я, маточка, в это мгновение вас вспомнил, все ваши несчастья и нужды вспомнил, ваш полтинничек вспомнил, — да нет, говорит, что проценты, вот если б заклад! А то у меня денег нет, ей-богу нет; я бы, говорит, с удовольствием, — еще и побожился, разбойник!

Ну, тут уж, родная моя, я и не помню, как вышел, как прошел Выборгскую, как на Воскресенский мост попал, устал ужасно, прозяб, продрог и только в десять часов в должность успел явиться. Хотел было себя пообчистить от грязи, да Снегирев, сторож, сказал, что нельзя, что щетку испортишь, а щетка, говорит, барин, казенная. Вот



бы душой, да что нет у меня ничего, ровно нет ничего. «Батюшка, Макар Алексеевич,— говорит он мне,— я многого и не прошу, а вот так и так (тут он весь покраснел) — жена, говорит, дети, голодно — хоть гривенничек какой-нибудь». Ну, тут уж мне самому сердце защемило. Куда, думаю, меня перещеголяли! А всего-то у меня и оставалось двадцать копеек, да я на них рассчитывал: хотел завтра на свои крайние нужды истратить. «Нет, голубчик мой, не могу; вот так и так», — говорю. «Батюшка, Макар Алексеевич, хоть что хотите, говорит, хоть десять копеечек». Ну, я ему и вынул из ящика и отдал свои двадцать копеек, маточка, — все доброе дело! Эх, нищета-то! Разговорился я с ним: да как же вы, батюшка, спрашиваю, так зануждались, да еще при таких нуждах комнату в пять рублей серебром нанимаете? Объяснил он мне, что полгода назад нанял и деньги внес вперед за три месяца; да потом обстоятельства такие сошлись, что ни туда ни сюда ему, бедному. Ждал он, что дело его к этому времени кончится. А дело у него неприятное. Он, видите ли, Варенька, за что-то перед судом в ответе находится. Тягается он с кушом каким-то, который сплутывал подрядом с казною; обман открыли, кушца под суд, а он в дело-то свое разбойничье и Горшкова запутал, который тут как-то также случился. А по правде-то, Горшков виновен только в нерадении, в неосмотрительности и в непростительном упущении из вида казенного интереса. Уж несколько лет дело идет; все препятствия разные встречаются против Горшкова. «В бесчестии же, на меня взводимом, — говорит мне Горшков, — неповинен, несколько неповинен, в плутовстве и грабеже неповинен». Дело это его замарало немного; его исключили из службы, и хотя не нашли, что он капитально виновен, но до совершенного своего оправдания он до сих пор не может выправить с кушца какой-то знатной суммы денег, ему следуемой и перед судом у него оспариваемой. Я ему верю, да суд-то ему на слово не верит; дело-то оно такое, что все в крючках да в узлах таких, что во сто лет не распутаешь. Чуть немного распутают, а купец еще крючок да еще крючок. Я принимаю сердечное участие в Горшкове, родная моя, соболезную ему. Человек без должности; за ненадежность никуда не принимается; что было запасу, проели; дело запутано, а между тем ни с того ни с сего, совершенно нехстати, ребенок родился, — ну вот из-

держки, сын заболел — издержки, умер — издержки; жена больна; он нездоров застарелой болезнью какой-то: одним словом, пострадал, вполне пострадал. Впрочем, говорит, что ждет на днях благоприятного решения своего дела и что уж в этом теперь и сомнения нет никакого. Жаль, жаль, очень жаль его, маточка! Я его обласкал. Человек-то он затерянный, запутанный; покровительства ищет, так вот я его и обласкал. Ну, прощайте же, маточка, Христос с вами, будьте здоровы. Голубчик вы мой! Как вспомню об вас, так точно лекарство приложу к больной душе моей, и хоть страдаю за вас, но и страдать за вас мне легко.

Ваш истинный друг

Макар Девушкин.

Сентября 9-го.

Матушка, Варвара Алексеевна!

Пишу вам вне себя. Я весь взволнован страшным происшествием. Голова моя вертится кругом. Я чувствую, что все кругом меня вертится. Ах, родная моя, что я расскажу вам теперь! Вот, мы и не предчувствовали этого. Нет, я не верю, чтобы я не предчувствовал, я все это предчувствовал. Все это заранее слышалось моему сердцу! Я даже намерен во сне что-то видел подобное.

Вот что случилось! Расскажу вам без слога, а так, как мне на душу господь положит. Пошел я сегодня в должность. Пришел, сижу, пишу. А нужно вам знать, маточка, что я и вчера писал тоже. Ну, так вот, вчера подходит ко мне Тимофей Иванович и лично изволит наказать, что — вот, дескать, бумага нужная, спешная. Перепишите, говорит, Макар Алексеевич, почище, поспешно и тщательно: сегодня к подписанию идет. Заметить вам нужно, ангельчик, что вчерашнего дня я был сам не свой, ни на что и глядеть не хотелось; грусть, тоска такая напала! На сердце холодно, на душе темно; в памяти все вы были, моя бедная ясочка. Ну, вот, я принялся переписывать; переписал чисто, хорошо, только уж не знаю, как вам точнее сказать, сам ли нечистый меня попутал, или тайными судьбами какими определено было, или просто так должно было сделаться, — только пропустил я целую строчку, смысл-то и вышел, господь его



знает какой, просто никакого не вышло. С бумагой-то вчера опоздали и подали ее на подписание его превосходительству только сегодня. Я, как ни в чем не бывало, являюсь сегодня в обычный час и располагаюсь рядком с Емельяном Ивановичем. Нужно вам заметить, родная, что я с недавнего времени стал вдвое более прежнего советиться и в стыд приходить. Я в последнее время и не глядел ни на кого. Чуть стул заскрипит у кого-нибудь, так уж я и ни жив ни мертв. Вот точно так сегодня, преник, присмирел, ежом сажу, так что Ефим Акимович (такой задира, какого и на свете до него не было) сказал во всеуслышание: что, дескать, вы, Макар Алексеевич, сидите таким у-у-у? да тут такую гримасу скорчил, что все, кто около него и меня ни были, так и покатались со смеху, и уж, разумеется, на мой счет. И пошли, и пошли! Я и уши прижал и глаза зажмурил, сажу себе, не пошевелюсь. Таков уж обычай мой; они этак скорей отстают. Вдруг слышу шум, беготня, суетня; слышу — не обманываются ли уши мои? зовут меня, требуют меня, зовут Девушкина. Задрожало у меня сердце в груди, и уж сам не знаю, чего я испугался; только знаю то, что я так испугался, как никогда еще в жизни со мной не было. Я прирос к стулу, — и как ни в чем не бывало, точно и не я. Но вот опять начали, ближе и ближе. Вот уж над самым ухом моим: дескать, Девушкина! Девушкина! где Девушкин? Подымаю глаза: передо мною Евстафий Иванович; говорит: «Макар Алексеевич, к его превосходительству, скорее! Беды вы с бумагой наделали!» Только это одно и сказал, да довольно, не правда ли, маточка, довольно сказано было? Я помертвел, оледенел, чувств лишился, иду — ну, да уж просто ни жив ни мертв отправился. Ведут меня через одну комнату, через другую комнату, через третью комнату, в кабинет — предстал! Положительного отчета, об чем я тогда думал, я вам дать не могу. Вижу, стоят его превосходительство, вокруг него все они. Я, кажется, не поклонился; позабыл. Оторопел так, что и губы трясутся и ноги трясутся. Да и было отчего, маточка. Во-первых, совестно; я взглянул направо в зеркало, так просто было отчего с ума сойти от того, что я там увидел. А во-вторых, я всегда делал так, как будто бы меня и на свете не было. Так что едва ли его превосходительство были известны о существовании моем. Может быть, слышали так, мельком, что есть у них в ведомстве

Девушкин, но в кратчайшие сего сношения никогда не входили.

Начали гневно: «Как же это вы, сударь! Чего вы смотрите? нужная бумага, нужно к спеху, а вы ее портите. И как же вы это», — тут его превосходительство обратились к Евстафию Ивановичу. Я только слышу, как до меня звуки слов долетают: «Нераденье! неосмотрительность! Вводите в неприятности!» Я раскрыл было рот для чего-то. Хотел было прощения просить, да не мог, убежать — покуситься не смел, и тут... тут, маточка, такое случилось, что я и теперь едва перо держу от стыда. Моя пуговка — ну ее к бесу! — пуговка, что висела у меня на ниточке — вдруг сорвалась, отскочила, запрыгала (я, видно, задел ее нечаянно), зазвенела, покатила и прямо, так-таки прямо, проклятая, к стопам его превосходительства, и это посреди всеобщего молчания! Вот и все было мое оправдание, все извинение, весь ответ, все, что я собирался сказать его превосходительству! Последствия были ужасны! Его превосходительство тотчас обратили внимание на фигуру мою и на мой костюм. Я вспомнил, что я видел в зеркале: я бросился ловить пуговку! Нашла на меня дурь! Нагнулся, хочу взять пуговку, — катается, вертится, не могу поймать, словом и в отношении ловкости отличился. Тут уж я чувствую, что и последние силы меня оставляют, что уж все, все потеряно! Вся репутация потеряна, весь человек пропал! А тут в обоих ухах ни с того ни с сего и Тереза, и Фальдони, и пошло перезванивать. Наконец, поймал пуговку, приподнялся, вытянулся, да уж коли дурак, так стоял бы себе смирно, руки по швам! Так нет же. Начал пуговку к оторванным ниткам прилаживать, точно оттого она и пристанет; да еще улыбаюсь, да еще улыбаюсь. Его превосходительство отвернулись сначала, потом опять на меня взглянули — слышу, говорят Евстафию Ивановичу: «Как же?.. посмотрите, в каком он виде!.. как он!.. что он!..» Ах, родная моя, что уж тут — как он? да что он? отличился! Слышу, Евстафий Иванович говорит: «Не замечен, ни в чем не замечен, поведения примерного, жалованья достаточно, по окладу...» — «Ну, облегчите его как-нибудь, — говорит его превосходительство. — Выдать ему вперед...» — «Да забрал, говорят, забрал, вот за столько-то времени вперед забрал. Обстоятельства, верно, такие, а поведения хорошего и не замечен, никогда не замечен». Я, ангель-



чик мой, горел, я в адском огне горел! Я умирал! «Ну, — говорят его превосходительство громко, — переписать же вновь поскорее; Девушкин, подойдите сюда, перепишите опять вновь без ошибки; да послушайте...» Тут его превосходительство обернулись к прочим, роздали приказания разные, и все разошлись. Только что разошлись они, его превосходительство поспешно вынимают книжник и из него сторублевую. «Вот, — говорят они, — чем могу, считайте, как хотите» — да и всунул мне в руку. Я, ангел мой, вздрогнул, вся душа моя потряслась; не знаю, что было со мною; я было схватить их ручку хотел. А он-то весь покраснел, мой голубчик, да — вот уж тут ни на волосок от правды не отступаю, родная моя: взял мою руку недостойную, да и потряс ее, так-таки взял да потряс, словно ровне своей, словно такому же, как сам, генералу. «Ступайте, говорит, чем могу... Ошибок не делайте, а теперь грех пополам».

Теперь, маточка, вот как я решил: вас и Федору прошу, и если бы дети у меня были, то и им бы повелел, чтобы богу молились, то есть вот как: за родного отца не молились бы, а за его превосходительство каждодневно и вечно бы молились! Еще скажу, маточка, и это торжественно говорю — слушайте меня, маточка, хорошенько — клянусь, что как ни погибал я от скорби душевной в лютые дни нашего злополучия, глядя на вас, на ваши бедствия, и на себя, на унижение мое и мою неспособность, несмотря на все это, клянусь вам, что не так мне сто рублей дороги, как то, что его превосходительство сами мне, соломе, пьянице, руку мою недостойную пожать изволили! Этим они меня самому себе возвратили. Этим поступком они мой дух воскресили, жизнь мне слаще навеки сделали, и я твердо уверен, что я, как ни грешен перед всевышним, но молитва о счастье и благополучии его превосходительства дойдет до престола его!..

Маточка! Я теперь в душевном расстройстве ужасном, в волнении ужасном! Мое сердце бьется, хочет из груди выпрыгнуть. И я сам так-то весь как будто ослаб. Посылаю вам сорок пять рублей ассигнациями, двадцать рублей хозяйке даю, у себя тридцать пять оставляю; на двадцать платые поправлю, а пятнадцать оставляю на житье-бытье. А только теперь все эти впечатления-то утренние потрясли все существование мое. Я прилягу. Мне, впро-

чем, покойно, очень покойно. Только душу ломит и слышно там, в глубине, душа моя дрожит, трепещет, шевелится. Я приду к вам; а теперь я просто хмелен от всех ощущений этих... Бог видит все, маточка вы моя, голубушка вы моя бесценная!

Ваш достойный друг

*Макар Девушкин.*

*Сентября 10-го.*

Любезный мой Макар Алексеевич!

Я несказанно рада вашему счастью и умею ценить добродетели вашего начальника, друг мой. Итак, теперь вы отдохнете от горя! Но только, ради бога, не тратьте опять денег попусту. Живите тихонько, как можно скромнее, и с этого же дня начинайте всегда хоть что-нибудь откладывать, чтоб несчастья не застали вас опять внезапно. Об нас, ради бога, не беспокойтесь. Мы с Федорой кое-как проживем. К чему вы нам денег столько прислали, Макар Алексеевич? Нам вовсе не нужно. Мы довольны и тем, что есть у нас. Правда, нам скоро понадобятся деньги на переезд с этой квартиры, но Федора надеется получить с кого-то давнишний, старый долг. Оставляю, впрочем, себе двадцать рублей на крайние надобности. Остальное посылаю вам назад. Берегите, пожалуйста, деньги, Макар Алексеевич. Прощайте. Живите теперь покойно, будьте здоровы и веселы. Я писала бы вам более, но чувствую ужасную усталость; вчера я целый день не вставала с постели. Хорошо сделали, что обещались зайти. Навестите меня, пожалуйста, Макар Алексеевич.

*В. Д.*

*Сентября 11-го.*

Милая моя Варвара Алексеевна!

Умоляю вас, родная моя, не разлучайтесь со мною теперь, теперь, когда я совершенно счастлив и всем доволен. Голубчик мой! Вы Федору не слушайте, а я буду все, что вам угодно, делать; буду вести себя хорошо, из одного уважения к его превосходительству, буду вести себя хо-



рошо и отчетливо; мы опять будем писать друг другу счастливые письма, будем поверять друг другу наши мысли, наши радости, наши заботы, если будут заботы; будем жить вдвоем согласно и счастливо. Займемся литературою... Ангельчик мой! В моей судьбе все переменялось, и все к лучшему переменялось. Хозяйка стала сговорчивее, Тереза умнее, даже сам Фальдони стал какой-то проворный. С Ратазиевым я помирился. Сам, на радостях, пошел к нему. Он, право, добрый малый, маточка, и что про него говорили дурного, то все это был вздор. Я открыл теперь, что все это была гнусная клевета. Он вовсе и не думал нас описывать; он мне это сам говорил. Читал мне новое сочинение. А что тогда Ловласом-то он меня назвал, так это всё не брань или название какое неприличное: он мне объяснил. Это слово в слово с иностранного взято и значит *проворный малый*, и если покрасивее сказать, политатурнее, так значит *парень — плохо не клади* — вот! а не что-нибудь там такое. Шутка невинная была, ангельчик мой. А я-то, неуч, сдуру и обиделся. Да уж я теперь перед ним извинился... И погода-то такая замечательная сегодня, Варенька, хорошая такая. Правда, утром была небольшая изморозь, как будто сквозь сито сеяло. Ничего! Зато воздух стал посвежее немножко. Ходил я покупать (сапоги) и купил удивительные (сапоги). Прошелся по Невскому. «Пчелку» прочел. Да! про главное я и забываю вам рассказать.

Видите ли что.

Сегодня поутру разговорился я с Емельяном Ивановичем и с Аксентием Михайловичем об его превосходительстве. Да, Варенька, они не с одним мною так обошлись милостиво. Они не одного меня облагодетельствовали и добротой сердца своего всему свету известны. Из многих мест в честь ему хвалы воссылаются и слезы благодарности льются. У них сирота одна воспитывалась. Изволили пристроить ее: выдали за человека известного, за чиновника одного, который по особым поручениям при них же превосходительстве находился. Сына одной вдовы в какую-то канцелярию пристроили и много еще благодетельных разных оказали. Я, маточка, почел за обязанность тут же и мою лепту положить, всем во всеуслышание поступок его превосходительства рассказал; я все им рассказал и ничего не утаил. Я стыд-то в карман спрятал. Какой тут стыд, что за амбиция такая при таком обстоя-

тельстве! Так-таки вслух — да будут славны дела его превосходительства! Я говорил увлекательно, с жаром говорил и не краснел, напротив, гордился, что пришлось такое рассказывать. Я про все рассказал (про вас только благоразумно умолчал, маточка), и про хозяйку мою, и про Фальдони, и про Ратазиева, и про сапоги, и про Маркова — все рассказал. Кое-кто там пересмеивались, да правда, и все они пересмеивались. Только это в моей фигуре, верно, они что-нибудь смешное нашли или насчет сапогов моих — именно насчет сапогов. А с дурным каким-нибудь намерением они не могли этого сделать. Это так, молодость или оттого, что они люди богатые, но с дурным, с злым намерением они никак не могли мою речь осмеивать. То есть что-нибудь насчет его превосходительства — этого они никак не могли сделать. Не правда ли, Варенька?

Я все до сих пор не могу как-то опомниться, маточка. Все эти происшествия так смутили меня! Есть ли у вас дрова? Не простудитесь, Варенька; долго ли простудиться. Ох, маточка моя, вы с вашими грустными мыслями меня убиваете. Я уж бога молю, как молю его за вас, маточка! Например, есть ли у вас шерстяные чулочки или так, из одежды что-нибудь, потеплее. Смотрите, голубчик мой. Если вам что-нибудь там нужно будет, так уж вы, ради создателя, старика не обижайте. Так-таки прямо и ступайте ко мне. Теперь дурные времена прошли. Насчет меня вы не беспокойтесь. Впереди все так светло, хорошо!

А грустное было время, Варенька! Ну да уж все равно, прошло! Года пройдут, так и про это время вздохнем. Помню я свои молодые годы. Куда! Копейки иной раз не бывало. Холодно, голодно, а весело да и только. Утром пройдешься по Невскому, личико встретишь хорошенькое, и на целый день счастлив. Славное, славное было время, маточка! Хорошо жить на свете, Варенька! Особенно в Петербурге. Я со слезами на глазах вчера каялся перед господом богом, чтобы простил мне господь все грехи мои в это грустное время: ропот, либеральные мысли, дебош и азарт. Об вас вспоминал с умилением в молитве. Вы одни, ангельчик, укрепляли меня, вы одни утешали меня, напутствовали советами благими и наставлениями. Я этого, маточка, никогда забыть не могу. Ваши записочки все перецеловал сегодня, голубчик мой!



Ну, прощайте, маточка. Говорят, есть где-то здесь недалеко платьё продажное. Так вот я немножко наведаюсь. Прощайте же, ангельчик. Прощайте!

Вам душевно преданный

Макар Деушкин.

Сентября 15-го.

Милостивый государь,  
Макар Алексеевич!

Я вся в ужасном волнении. Послушайте-ка, что у нас было. Я что-то роковое предчувствую. Вот посудите сами, мой бесценный друг: господин Быков в Петербурге, Федора его встретила. Он ехал, приказал остановить дрожки, подошел сам к Федоре и стал наведываться, где она живет. Та сначала не сказывала. Потом он сказал, усмехаясь, что он знает, кто у ней живет. (Видно, Анна Федоровна все ему рассказала.) Тогда Федора не вытерпела и тут же на улице стала его упрекать, укорять, сказала ему, что он человек безнравственный, что он причина всех несчастий моих. Он отвечал, что когда гроша нет, так, разумеется, человек несчастлив. Федора сказала ему, что я бы сумела прожить работою, могла бы выйти замуж, а не то так сыскать место какое-нибудь, а что теперь счастье мое навсегда потеряно, что я к тому же больна и скоро умру. На это он заметил, что я еще слишком молода, что у меня в голове бродит и что и наши добродетели потускнели (его слова). Мы с Федорой думали, что он не знает нашей квартиры, как вдруг вчера, только что я вышла для закупок в Гостиный двор, он входит к нам в комнату; ему, кажется, не хотелось застать меня дома. Он долго расспрашивал Федору о нашем житье-бытье; все рассматривал у нас; мою работу смотрел, наконец спросил: «Какой же это чиновник, который с вами знаком?» На ту пору вы чрез двор проходили; Федора ему указала на вас; он взглянул и усмехнулся. Федора упрашивала его уйти, сказала ему, что я и так уже нездорова от огорчений и что видеть его у нас мне будет весьма неприятно. Он промолчал; сказал, что он так приходил, от нечего делать, и хотел дать Федоре двадцать пять рублей; та, разумеется, не взяла. Что бы это значило? Зачем это он приходил к нам? Я понять не могу, откуда

он все про нас знает! Я теряюсь в догадках. Федора говорит, что Аксинья, ее золовка, которая ходит к нам, знакома с прачкой Настасьей, а Настасьин двоюродный брат сторожем в том департаменте, где служит знакомый племянника Анны Федоровны, так вот не переползла ли как-нибудь сплетня? Впрочем, очень может быть, что Федора и ошибается; мы не знаем, что придумать. Неужели он к нам опять придет! Одна мысль эта ужасает меня! Когда Федора рассказала все это вчера, так я так испугалась, что чуть было в обморок не упала от страха. Чего еще им надобно? Я теперь их знать не хочу! Что им за дело до меня, бедной! Ах! в каком я страхе теперь: так вот и думаю, что войдет сию минуту Быков. Что со мною будет! Что еще мне готовит судьба? Ради Христа, зайдите ко мне теперь же, Макар Алексеевич. Зайдите, ради бога, зайдите.

В. Д.

Сентября 18-го.

Маточка, Варвара Алексеевна!

Сего числа случилось у нас в квартире донельзя горестное, ничем не объяснимое и неожиданное событие. Наш бедный Горшков (заметить вам нужно, маточка) совершенно оправдался. Решение-то уж давно как вышло, а сегодня он ходил слушать окончательную резолюцию. Дело для него весьма счастливо кончилось. Какая там была вина на нем за нерадение и неосмотрительность — на все вышло полное отпущение. Присудили выправить в его пользу с купца знатную сумму денег, так что он и обстоятельствами-то сильно поправился, да и честь-то его от пятна избавилась, и все стало лучше, — одним словом, вышло самое полное исполнение желания. Пришел он сегодня в три часа домой. На нем лица не было, бледный, как полотно, губы у него трясутся, а сам улыбается — обнял жену, детей. Мы все гурьбою ходили к нему поздравлять его. Он был весьма растроган нашим поступком, кланялся на все стороны, жал у каждого из нас руку по нескольку раз. Мне даже показалось, что он и выпрос-то, и выпрямился-то, и что у него и слезинки-то нет уже в глазах. В волнении был таком, бедный. Двух минут на месте не мог простоять; брал в руки все, что ему ни попадалось, потом опять бросал, беспрестанно улыбался